

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ИШАЯГУ

РАССКАЗ

В воскресенье, когда можно выспаться, я просыпаюсь ни свет ни заря и маюсь в долгой надежде уснуть. Пока, отчаявшись, не решаюсь встать. Тут-то и нападает на меня многочасовой сон, после чего день разбит. Хорошо, если еще запасся билетом в «Кинематограф» («Королевские пираты», «Возница» с Шёстромом, Гарольд Ллойд). Тогда до ухода есть шанс что-то написать. Потому что вдохновение приходит ко мне в самые неподходящие моменты. Вчера после работы два часа просидел в метро над рассказом, который назову «Ишаягу». А нынче по пробуждении так жадно потянулся к листкам, что выходной был бы спасен: провалялся бы до вечера с карандашом в руках, только на ночь глядя вышел бы — пройтись по Подольской. До угла и назад, тайным триумфатором.

Но пришла телеграмма. Ее доставили, когда вся квартира еще спала. Адресат сам кинулся к дверям, пытаюсь застегнуть на несуществующие пуговицы дырявую пижаму. Ликующий миг прочтения. «Приезжаю воскресенье Москвы поезд 32 вагон 5 = Феликс».

Всегда он так.

Пощипав скулы невычищенной бритвой (как следы спешки — жирные запятые у кадыка) да обмахнув туфли, бегу на остановку. До Московского вокзала ходил трамвай — вернее, полз, слепо тычась во все закоулки. Нет чтоб сойти с рельсов и умчаться. Я курил натошак, нервно поглядывая то на вокзальные часы, то в воскресную сонную даль трамвайных путей. Бесило соседство подделки — тоже вокзала, всего лишь Витебского. О, как давал я мысленно в зубы всем вагоновожатым мира! Страшенно. Без всякой жалости к их детям.

В последний раз мы виделись с Феликсом полгода назад, он появился точно так же: гром победы среди ясного неба. Я гостил у старичков в Днепропетровске: пил Днепр, как некогда пили глаза любимой, отдавался безмятежному золоту лета, словно сам — любимая на песке... Чай на столетнем балконе. Иногда томик Гейне. Вдруг, как и сейчас, только поздним вечером, телеграмма: «Буду завтра ждите = Феликс». Ни когда, ни откуда. Старики-мотыльки закружились по комнате, не сразу вылетев за дверь: бабушка — на исходящую ароматами коммунальную кухню, их сейчас прибавится; дед — на лестницу и по знакомым, не выпуская телеграммы из рук, обтянутых блестящей старческой пленкой. Приезжает! Приезжает! Ну как же!

Феликс — мой брат. С той оговоркой, что у нас разные отчества, разные фамилии, и мы с ним дети разных народов. Он происходит от русской матери и русского отца, я — еврейский сын. Его отец — уже много лет как аккредитованный в капиталистических джунглях «правдист». А может, «известинец». Мать, в прошлом выступавшая с романсами по разным клубам, была писаной красавицей: свежа, бела, румяна, стройна, лебединая шея, осанка как выражение великоугарного

осознания всей мощи державы своей. Это ее красы наложили свое вето на черты, которые Феликс перенял у некоего устроителя концертов и которые меня, например, превратили в заурядного городского еврея — в стужу нос не умещается за высокими стенами поднятого воротника и вечно краснеет, и капельничает, и вообще... А вот Феликс был курнос, сразу радостное лицо, словно между щек помещалась аллегория покорения космоса в образе юноши и ракеты, взмывающей с его ладони. Такими же восторгами лучились серые глаза, часто забывавшие сморгнуть. Всем прочим он по-братски поделился со мной, отчего возникало известное сходство между нами троими (включая администратора областной филармонии).

Итак, мой отец был администратором, а мать...неважно кем — родительский альков мне заповедан, издали посвечу на полог в сердечках. Разница в возрасте между мной и Феликсом — два года и два месяца в его пользу. Отец уже был женат на матери, когда я родился. Последовательность разрывов и встреч не имеет значения, главное, что журналист брал облюбванное с нагрузкой, к тому же не без риска для своей карьеры. Он и позднее проявлял не вязавшуюся с его жаном широту натуры, хотя о войне великодушный говорить не приходится.

Когда Феликсу исполнился год, журналист получил Высокое Назначение. Высокою с Эмпайр Стейтс Билдинг. И они уехали... Поздней Феликс был поручен заботам своей катакомбной родни — нигде не оприходованных дедушки с бабушкой. По редким наездам с родителями в Днепропетровск я смутно помню Адониса в заграничных одеждах, ужасно взрослого. Дедушка с бабушкой в нем души не чаяли. Если верить им, артист проснулся в Феликсе очень рано. С пяти лет он уже учился на скрипке у Тушмалова, местной знаменитости. Затем был отправлен в Ленинград, там при консерваторской десятилетке имелся интернат. Потесненное москвичами, это заведение больше не сияет на сумрачном челе страны, а прежде сияло — в ореоле имен своих создателей: Николаева, Савшинского, Загурского, Штримера, Сигал, Ляховицкой — за ними же видятся колоссы: Римский-Корсаков, Глазунов, Ауэр. Полагаю, при поступлении Феликсу не понадобились отцовские связи, и их приберегли для меня. Иначе трудно объяснить мое зачисление по классу фортепиано туда же два года спустя.

Сейчас можно с уверенностью сказать: Феликс оправдал свое имя. Рожденный вне брака какой-то певичкой от безродного администратора, он обрел законного отца из числа сильных мира сего. Благодатное для всякого исполнителя происхождение, оставаясь при нем, не фигурировало ни в одной анкете. Зато частичное наполнение жил еврейской кровью приобщало его к негласному сословию, которое хочется назвать «новодворянским». По моему убеждению — спорим, время подтвердит мою правоту — эти полукровки придут на смену разгромленному дворянству и составят духовную элиту советского общества, будучи посредниками между шестерней партийного солнышка, с одной стороны, и пятой колонной — с другой.

Повезло Феликсу и в том, что годы обучения его в школе совпали с годами интереса к ней партийного духовенства. Спрос на вундеркиндов в пору Счастливого Детства был продиктован не столько требованиями пропаганды, сколько эстетики, и потому побил даже великий почин тридцатых годов по раскапыванию и отбеливанию серокожих «юных дарований».

Но и по воцарении доброго дяди, когда повсеместное разведение коллективов мускулисто-сарафанной самодеятельности (наряду с кукурузой) понизило статус привилегированной школы, удача по-прежнему шла рука об руку с Феликсом. Другие срывались, бывшие еще вчера гордостью своих учителей, — с каким благоговением взирал я на парад молодых гениев: Кондуктер, Линдер, Бендорский (мой одноклассник). Теперь они расточали себя по захудалым концертным организациям, смешиваясь с посредственностями и опускаясь до их уровня. Кое-

кто, смилив гордыню, растворился в оркестровой массе, что было обидно. Зато синица в руке.

Однако Феликса это совершенно не коснулось. Наоборот. Он получает один все то, что предстояло с кем-то делить. Семнадцати лет под барабанный бой прессы удостоивается первой премии на Большом Лондонском Фестивале. Менухин назначает ему стипендию, которую Внешторгбанк благосклонно принимает. Тогда же Феликс переезжает в Москву (его семья к тому времени осела на Кутузовском проспекте). Год спустя он — обладатель «Гран при дю диск» за запись концерта Хачатуряна, сделанную на «Дейче Граммофон». Певец Солнечной Армении, справлявший с большой помпой шестидесятилетие (в Ленинграде не обошлось без скандала), берет его с собой в юбилейное турне. В Счастливой Аравии Араму Ильичу преподнесли титул паши, а Феликса Константиновича наградили железным полумесяцем на двойном банте.

Записи, концерты с лучшими оркестрами — Запад рукоплещет Феликсу. Присоединяется к этой овации и Восток — присудив ему, девятнадцатилетнему, премию Ленинского Комсомола, вместе с Расулом Гамзатовым и Пахмутовой (этой за песню «Нежность»). Вдруг СССР догоняет и перегоняет США по производству чего угодно на душу отдельно взятого гражданина. Тут и сертификатный счет в банке, и коллекционный Страдиварий, и принадлежность к номенклатуре «выдающихся деятелей», гарантирующая мемориальную доску: «В этом доме жил и работал...» А уж даты, это как карта ляжет.

Подобно артисту цирка, Феликсу не ставилось на вид по-чекистски экстравагантное имя. Разве он в своем роде не Кио? Тоже во фраке, тоже выступает. По той же причине он был избавлен от постыдной дани, которой наше время облагает всякого, кто попадает в опочивальню избранных. От циркача требовать членства в партии — дискредитировать партию. Когда кому-то, не шибко разбиравшемуся в «ролях и людях», взбрело на ум ввести Феликса в члены ЦК ВЛКСМ, его отец первый же воспротивился «такому недалевидному шагу», как, вероятно, он говорил вслух, а сердце при этом пело: «Не спрашивай, каким путем я царство приобрел, тебе не нужно знать...» Как бы там ни было, но Феликса тт. жрецы оставили в покое.

Такова вкратце история моего брата. Добавлю к ней несколько слов о себе. Мои пианистические успехи были настолько посредственны, что в консерваторию я поступил на вечернее отделение — к счастью, распределение мне не грозило, а от армии я был освобожден военкомом-взяточником. Я окончательно сокрушился духом. Но тогда же узрел свое истинное призвание, которому, верный пес, буду следовать до конца жизни, неважно с каким результатом. Уже три года, как я пишу и, на мой взгляд, продвинулся на этом пути. Засвидетельствовать мои достижения совершенно некому, я никому не даю ничего читать. Одна барышня, которую я, кстати, давно не видел, не в счет. На жизнь я себе зарабатываю тем, что веду уроки пения в начальной школе и при ней — кружок фортепиано.

Кажется, я остановился на том, какой переполох вызвала в Днепропетровске телеграмма Феликса. До глубокой ночи, вместо обычных к этому часу серенад, мой слух различал энергичный шепот: дед с бабой спорили, кого пригласить к обеду. Грудь моя расширилась, на глаза навернулись слезы. Я вышел на балкон покурить. Услышав, как я встаю, бабушка издала иерихонское «чшшш!»

Феликс пробыл в Днепропетровске день, рассказывая всякие истории, которые дед слушал с трогательной сосредоточенностью: зажмурившись и оттопырив рукой ухо. Бабушкино участие в разговоре ограничивалось вопросом, который она время от времени задавала: «Фелинька, так ты еще жениться не собираешься?»

В шесть за Феликсом закрылась дверь, ему надо было повидать Тушмалова, передать от кого-то привет. Дню предстояло несколько часов угасать. «Словно

чья-то жизнь, продолжающаяся бесцельно, ибо все уже позади», — подумал я. Три дня доедали мы то, что осталось от царского пира, превратившегося в поминальную трапезу, пока не отрыгнулось прежней умиротворенностью. Снова полет солнечных брызг, снова облепивший ноги песок, снова томик Гейне после вечернего чая.

В последний раз негнувшийся трамвай преодолевает змеиный изгиб рельсов. Следующая остановка — здание приятного зеленого цвета с башенкой:

По Невскому ходила
Большая крокодила,
Она, она
Зеленая была.

Моя походка стремительна: мандат и наган. Я впадаю в детство, в детский утренник. Утренние поезда из Москвы — это непременно в лучах восходящего солнца. «Песня о встречном» — вот что такое я на перроне на голодный желудок. Пальцы непрерывно направляются в карман пальто за сигаретой.

Дрогнув разок-другой, поезд окончательно стал. Толпа метнулась, словно встречала челюскинцев. Точное описание Феликса? Одна из пробных моделей Алена Делона. С ног до головы в заграничном. Скажете, каждый фарцовщик теперь в заграничном? Но видно же, что приобреталось это им в местах изготовления, пусть и не столь отдаленных. Воротник из шкуры шведского лосося, под мохеровым шарфиком воротничок рубашки из ломкой сиреневой ткани и гарнитурный, в тон ей, галстук с миниатюрным узелком. Похожие — из бархата, в блестках — продавались у Апраксина Двора...

— Похоже, в Ленинграде бархатный сезон?

Посредством шутового каламбура Феликс дал понять, что прочел мои мысли. Стоял март, лютые морозы позади — если только я правильно его понял: что сочинцу лето, то ленинградцу зима.

Он протянул мне левую руку — в правой держал футляр. Рука «паганиниева»: тонкопалая, костлявая. Я повесил через плечо его сумку из серо-голубого свиристящего нейлона, со множеством внешних карманов и карманчиков на молниях. И мы пошли.

Мы належке. Нас давно уже след простыл, а толпа по-прежнему плещется у вагонов, разрываясь между чемоданами и поцелуями... нет, я этого не сказал, это так, апарте. Моя тема — дедушка с бабушкой, минимум риска что-нибудь сморозить. Я ведь не умею общаться в шутовом ключе, у всех беру интервью: «А скажи, пожалуйста, что ты думаешь...» Понятное дело, меня избегают.

— У тебя телефон Бендорского есть?

Вот и встретились, недолго музыка играла. Я выпалил телефон, как отличник, — чтобы Феликс не подумал чего. Просто рано было звонить к Славке («...партия виолончели — Мстислав Бен-Дорррский!») Выудив из кармашка двушку, он набрал номер скорей, чем я успел ему это сказать.

— Алло, Славик, это я... — в лице некоторая выжидательность, покуда Бендора сообразал, кто такой «Славик». Сообразил. — Да... да... с вокзала... — Голос у Феликса кадрящий, томный. Когда это он называл Бендорского Славиком? «Славка...» — Да, Славик, да, милый, сейчас будем... Ну к кому же еще, птица ты моя...

«Будем». Я тоже в списке приглашенных? Вообще-то не мешало позавтракать.

Феликс развлекается чтением моих мыслей:

— Да, Славик, у тебя пожрать что-нибудь будет? Яичницу сделаешь? — Оборачивается ко мне: — Яичницу сделает, — как если б это я попросил.

Бендорский, или, по-нашему, Бендора, один из тех, кто в юности блистал. Говоря о таких, разводят руками и, состроив гримасу, блестят эпителием нижней губы.

Такси не берем, а идем на троллейбус. Соскучился по троллейбусам? Я тоже в них редко езжу, больше трамваями. В трех местах они загораживают Невский: с Лиговки, с Литейного и с Садовой. Передвигаемые кем-то серванты, буфеты — но только с виду, не на слух; звук передвигаемой мебели воспроизводит ансамбль контрабасистов Большого театра.

Пока мы стояли на светофоре, я позабыл, что в моем случае молчанье — золото.

— А скажи, пожалуйста, тебя не волнует мысль, что этот трамвай, который сейчас видим мы, еще совсем недавно разбудил девушку на Петроградской, а вскоре разбудит и юношу на Никольском, и они еще не подозревают друг о друге, а всеобщая сводня (не говорить же «Бог»), увидев это, решила: дай-ка сведу их сегодня вечером здесь, угол Невского и Садовой, больно красивы оба, а я такая старая. И когда утром на Максима Горького или на Никольский свернет первый трамвай, он разбудит обоих.

Произведено очередное испытание Феликса на «сейсмичность», результат испытания засекречен: из трех знаменитых букв возможно опубликовать лишь последнюю, прикрывшуюся фиговым листком склонения, а первые две так и останутся — одна иксом, другая игреком.

— А ...я не хочешь?

На меня обернулось полтроллейбуса. Убежден — он сожалел. Глаза тотчас налились пустотой, устремясь в одну точку. Пока, сморгнув («вернув себе зрение»), он не спросил — как ни в чем не бывало:

— Ты сейчас пишешь?

Что я сочиняю и что это дело моей жизни, он знал, а потому при встречах всегда спрашивал об этом с видом великой заинтересованности.

Я ответил утвердительно.

— Так никому и не показывал?

Я еще раз ответил утвердительно.

Если бы Феликс очень попросил, я бы, пожалуй, дал ему что-нибудь прочесть.

Мы сели на Пушкинской, а сошли на Гоголя. День обещал продолжение оттепели — с крыши сорвалась сосулька прямо в сумку к гражданке, когда та поднималась по ступенькам продовольственного магазина. Гражданочка купила себе баночку сметаны, бутылку постного масла, цибик чая, фунтик фруктовых подушечек и, скажем, связку бубликов. Небось испугалась, растерялась и расстроилась — в таком порядке. Теперь вывернет в ближайшую урну «питательную массу», поднимется домой, помоеет все и спустится обратно в подвальчик. Спускаться, подниматься... Проще выбросить сумку вместе с начинкой.

Не успел я поделиться своими соображениями с Феликсом, как из того же продуктового подвальчика поднялся Бендорский. При виде нас дыхание у него занялось. А рядом как раз водосточная труба, приваренная к тротуару густыми зимними соплями. Бендора проехался и сел, десять удивленных глаз желтели на асфальте. Для большей выразительности картины он посидел еще с какое-то время. Потом мы дружно рассмеялись. Я протянул ему руку помощи, он встал, они расцеловались. Старые друзья.

— Ну, что делаем?

Пошли в молочное кафе, которое уже открылось. Кто — что, а я спросил себе «рисовую кашу молочную» и к ней две порции сахарного песка. Люблю, когда сладко. Они взяли по яичнице с беконом, искушая судьбу.

Бендорский (лыбясь, с полным ртом): — Ну, Фелька, давай, рассказывай.

Феликс (элегантно почавкивая): — О чем рассказывать?

Бендорский: — Ну, не знаю. О себе. По-прежнему за каждой юбкой бегаешь?

— Не считается, — кричу я Славке. — Он же прямиком из Шотландии, там юбки за юбками бегают.

Феликс, печально склонив голову: убогий ты наш. Я инстинктивно закрываю тарелку — вдруг еще плюнет. Когда-то мне плюнули.

— Маразм какой-то.

Так сказал и больше на меня не смотрел. Но и Славке не завидую, такого он ему наговорил.

— Значит, первым делом самолеты. Прилетели мы с Алешей в Эдинбург. (Алеша Новицкий — постоянный концертмейстер Феликса, «говорит на разных языках». Как апостол.) В отеле встречаем Пабло Казальса. «Привет — привет. Как живется-может? Спасибо, не жалуемся, а вам, маэстро? Да вот, мучаюсь, все хочу узнать, кто такой Слава Бендорский, виолончелист, а никто даже имени такого не слышал, обидно, а?»

Так измываться над Славкой из-за того, что я, идиот, закрыл руками кашу. И я решил: будь что будет, толкну брата коленкой...

— Ты совсем идиот, да? Может, вы думаете, я лгу? Нет, ты ответь, — «ты» относится к Бендоре, — я лгун, по-твоему?

Славка тихо произнес:

— Нет, Феликс, ты не лгун, ты подлец.

Он поднялся, чтобы уйти. На это Феликс процедил:

— А платить? Платить Пушкин будет? — и вдруг как запоет дурашливо: — Сердечный друг, желанный друг, не уходи, я твой супруг... — Вынул из кармана продолговатый белый конверт: — На, читай.

«Дорогой сэр, — язык у Бендоры заплетался, — наигранная Вами на пластинку «Песнь птицы» потрясла ее автора до глубины души. Поверьте старому музыканту, который выступал в Вашей стране еще в 1905 году: я плакал. Пользуюсь случаем выразить Вам свое безграничное восхищение и льщу себя надеждой увидеть Вас среди почетных гостей моего семинара по виолончельному мастерству в Париже.

Казальс».

— Фелька...

А у самого голос дрожит. Потом вздохнул. Вздохнул и я — понимающе. Но козырной туз Феликс придержал. Конверт второй.

— ?

Глаза у Славки побежали по строчкам, как с горы:

«Уважаемый товарищ Бендорский! По решению министерства культуры СССР Вы направляетесь на Международный семинар виолончелистов «Фонд Пабло Казальса», который будет проходить с 12 по 30 марта 1966 года в г. Париже (Франция). По всем вопросам, касающимся Вашего выезда, обращаться...»

Все решительно повторяется, и не происходит ничего такого под солнцем, чего бы не случилось прежде. Желток с изумлением взирает с пола на неуклюжий Бендорин локоть. Но уже орудует тряпкой уборщица, ей помогает ее кот — тем, что поедает ломтики бекона. Она свой ломтик тоже съела. Всем хорошо.

— Ну, потопали?

Солнце, висевшее над самыми крышами, ослепило нас. Мы шурились, подтягивая щеки к глазам, а со стороны, наверное, казалось, что мы улыбаемся. Солнце обладало легендарной способностью делать золотым все, к чему бы ни прикоснулось. Правда, ценой последующего обращения в грязь — так что с философским подтекстом, за который расплачивались владельцы брюк, чулок, а также дворники, от неустанных трудов красные, как раки. На пару с какой-то дворничихой трудился ее безмужний сын (у дворничих мужей отродясь не бывало). Он орудовал лопаткой не шире собственного личика — а все же помощь, а все же лучше, чем одной, без детей. И этот будущий дворник казался мне — наряду с его мамашей, наряду с приездом Феликса, наряду с чудесным поворотом в жизни Бендорского — причастным к той великой радости, которая всходила в моей душе, как солнце.

Это оно отрывало от карнизов сосульки. В ужасе, что одна-другая упадут в сумки, а третья угодит все же кому-нибудь за шиворот, управдомы организовывали очистку крыш. Вдоль карнизов домов выстраивались рабочие с лопатами и ломami, а внизу, на противоположной стороне, толпились мои двойники — поглазеть, как от удара об асфальт разлетаются на мелкие кусочки ледяные глыбы. Под грохот весенней бомбежки жизнь была прекрасна. Но вслух же этого не скажешь. И никак не находила для себя выхода моя «Песня птицы».

Размечтавшись, я уже видел открывавшийся перед Славкой путь, от Гороховой улицы до Парижа. С ночными полетами среди звезд, со световой рекламой за шторами гостиничного номера, вспыхивающей и гаснущей ночь напролет. Мое сердце исполнилось бесконечных предвкушений, словно билось в чужой грудной клетке (клетки все одинаковы). Сейчас кому-то предстояло: во-первых, «почистить перышки» («Бендорчик, а водогрей у тебя есть?» — «М-м-м», — и при этом рот до ушей), во-вторых, собрать чемодан: мыло, там, щетку, желательно иметь пижаму, да и фрак («А фрак у тебя есть?» — «А как же», — бедуин, на вопрос, есть ли у него верблюды. И тоже — рот до ушей. Феликс: «Воображаю...»), и в-третьих, быть на Московском вокзале не позднее четверти двенадцатого.

— Повтори. — «Повторяю, скорый поезд номер...» Славка повторил гнусаво, как по вокзальному громкоговорителю. — И паспорт не забудь, а то я вместо тебя поеду.

— Фелька... — Бендорский кокетливо втянул голову в плечи. — Фелька, у меня есть только десять рупий. Еще в баньку надо сходить с веничком, с бутылочкой пивка. Значит, шестьдесят коп долой. Итого выходит...

Феликс посмотрел на Славку, как уже раз смотрел на меня, убогого, в чем тот, правда, не заподозрил обманный маневр с целью неожиданно плюнуть.

— Ладно, Славка, валяй. Угощаю.

Простились до вечера. Со мной будет прощаться? На всякий пожарный моя правая рука на стрёме, а то еще скажет: увязался. Пустые страхи, Феликс и не думал «давать мне вольную». Как только Славка ушел — бедняга (почему «бедняга»? Да сейчас как никогда), он обратился ко мне со словами:

— Поклянись памятью Щорса, что сегодня вечером ты свободен.

— Клянусь, — и бровью не повел, по школьной привычке ожидая подвоха.

— Чем клянешься? — вторая безуспешная попытка.

— Клянусь Щорсом, Котовским и двадцатью шестью бакинскими комиссарами, что свободен сегодня вечером, — лицо каменное.

Два ноль, такого он не ожидал.

— Ну, коли не шутишь... — и похлопал меня по спине, получилось, по своей же сумке, которая привлекала внимание к себе, а заодно и ко мне. Нельзя сказать, что последнее мне было неприятно. Особенно на стоянке такси. Феликс плевать хотел на очередь, а когда ему с чувством справедливого возмущения указали на хвост о двадцати головах, то гадливо отвернулся, словно это было что-то неприличное. От возмущения хвост о двадцати головах встал пистолетом. Откуда-то выскользнул, как мыло в раковину, милиционер, полагающийся в местах скопления микробов: «В чем дело?» Ванька-встанька. Брат только сверкнул ладошкой, а тот, козырнув, уже принял заказ: тормознул первую же «Волгу», сам открыл перед нами заднюю дверцу и снова взял под козырек.

А теперь представим себе, что на стоянке была парочка — она в зеленом пальто, справленном год назад.

Машина оказалась служебной.

— Куда едем? — хмуро спросил шофер и, услышав адрес, поинтересовался: — К Толстикovu в гости, что ли? — Феликс не ответил, чем пресек дальнейшие разговоры.

Мы описали полукруг по Дворцовой, понеслись пулей по набережной, подлетев на мостике — так что дух захватило (в животе). Справа, словно вчера опустевшие, мелькали пенаты российского барства, слева исполинским кораблем, с крестом и ангелом на золотой мачте, дрейфовала во льдах Петропавловская крепость. Мы свернули на Кировский мост. Стрелка Васильевского острова с двумя потухшими свечами Ростральных колонн по бокам, была прекрасна настолько, что разум отказывался в нее верить. Затем мираж Санкт-Петербурга исчез и мы углубились в серокаменный затвор Петроградской стороны.

Все стало с ног на голову. Феликс говорил, я слушал. Шофер мог даже спутать Феликса со мной. Мне вручался орден Щорса, причем вручавший чувствовал себя не в своей тарелке.

— У меня одно выступление вечером. У Алеши неудобные купюры, повторения. Все время приходится скакать. И концерт такой, что посторонних звать не рекомендуется. Закрытого типа. (Когда идет возведение турусов, то в желании это скрыть не могут остановиться. Выходит еще хуже.) Если хочешь знать, я здесь инкогнито. Кроме тебя и Бендоры никто не знает. Ему повезло: Казальс приезжал сюда как раз в девятьсот пятом. И с пластинкой в жилу, она у меня случайно в чемодане оказалась. А ты — ты же можешь ноты перевернуть. Сейчас репетнем, потом нам подадут к крыльцу самолет. Один раз в жизни постарайся не болтать.

— И с Алешей?

— И с Алешей.

Мы приехали. Со словами «служу кесарю!» шофер принял свой динар и был таков.

Забавно. Я еще не оказывался в таких заповедниках. За те несколько мгновений, что равнялись числу шагов от дверцы машины до дверей подъезда, ястребиный коготь моего взгляда расцарапал фасад. С перепугу глаза у кариатид перестали двигаться, бинокли из окон попадали, только постовой в подъезде при виде меня сохранил присутствие духа.

Звонок напомнил мне мои уроки сольфеджио: ку-ку, тер-ци-я. Здесь тоже не чураются импорта. Нам открыло кимоно, которое поспешно заслонил собою черный костюм: он надет на Алешу, кимоно — так и не знаю на кого. «Я имени ее не знаю и не хочу его узнать». Моих лет, учится во ЛГУ (на истфаке).

Сразу возникла неловкость, которую я отнес на свой счет. Судите сами: «Такой-то — такой-то, познакомьтесь». Я: «Очень рад». Он: «Верю». Кимоно: «Раздевайтесь, пожалуйста». Вдруг Алеша — Феликсу:

— Ты же сказал, что Бендорский будет.

— Он пошел в баню, — и пожимает плечами: проблема.

Алеша, словно барабана пальцами по губам — за неимением стола или доски:

— Так-с.

— Феликс просил меня ноты перевернуть, — я сама кротость.

— А вы сумеете?

— Я пианист.

— Кореш мой школьный, — говорит Феликс. — Вместе на котов охотились.

Совсем забыл сказать: в детстве мы действительно не знали, кем доводимся друг другу. Да и позднее это не афишировалось — «чтобы не причинять боли московскому отцу Феликса». Так я и поверил. Чтобы нигде не значился Днепропетровск — старик со старухой, столетний балкон, одинаково памятный нам обоим.

— Тогда порядок, — говорит Алеша, — только надо туфли почистить.

— Ну вот и почисти.

А Феликс не чикается.

— Да вы проходите в комнату, что вы здесь стоите, — говорит на правах хозяйки девушка-историк.

Ботинки я сегодня утром почистил. Зубы — нет.

Комната сама по себе мне понравилась — большая, с высоким потолком, солнечная. Такую легко было бы обменять. На стенах репродукции: грека-через-реку, разные хокусаи. По этому поводу у меня имелось особое мнение, из которого я не делал тайны.

— Украшать репродукциями стены своего жилища некоторые считают признаком культуры. Не понимаю их. Они же выдают себя за любителей данного искусства. Я-то не любитель, но это уже мое собачье дело. Входишь в такое жилище — и висят. Зачем? Если у тебя потребность, как бывает слушать музыку, полюбуйся на свою картинку, сколько тебе надо, утешься и снова спрячь. А то просыпаешься, она перед глазами, и добро бы одна — с десяток. Бежишь, извините, куда пешком бегают, а глазами смазываешь по «Блудному сыну». Зато ешь сладкую кашу и не удосужился сесть против фруктов двухсотлетней свежести — была б гурьевская. Вместо этого вгрызаешься глазами в кровоточащий бок. («А-а, захотелось сладкой каши с фруктами вприглядку, богохульник?») Но Феликс молчит, и я волен продолжать.) Это как если бы поклоняющийся музыке («Музыке не поклоняются, ее слушают», — те же читатели, голоса мною потерянные, но Феликс молчит) ...поклоняющийся музыке держал бы всегда включенным радио, и не одно, там Гайдн, тут Чайковский. На пляже так. С живописью ее пылкие поклонники обращаются как курортники...

Не говоря ни слова, она принялась снимать со стен все подряд. Я посмотрел на Феликса: нисколечко осуждения, даже наоборот. Посмотрел на Алешу...

— А-а, вам еще помешал мой Моралес?

«Мой», подлинник, что ли? Оказывается, над Алешиной головой висела картинка, мною случайно приписанная кисти Эль Греко. Стыдно... Стыдно тебе! Стыдно тебе!

Она принесла вращающуюся фортепианную табуретку, влезла на нее, привстала на цыпочках и — табуретка накренилась, а она с нее свалилась. В рифму, весело. Я еще подумал: если распростертое мужское тело, офицер со знаменем, это красиво в представлении патриотки, для которой мужество — залог победы над соперником, то ей самой падать даже в обморок, не то что с табуреток, противопоказано. У женщин это приводит ко всякого рода неряшливостям.

Одновременно я громко ахнул — оттого что она свалилась. И как частичка моей души, вылетая, все же закобалилась в звуке моего голоса, так и эта мысль совершенно произвольно в нем отпечаталась. И вышло, что я все сказал вслух.

Бой барабанный. Оркестр стихает. Гаснет свет. Гимнастка встает («Ах, то, что говорят мои уста сахарные, не предназначается для моих прелестных маленьких ушек») и, запахнув кимоно, уходит. Феликс делано захохотал ей вслед. Я не знал, устыдиться мне или как.

— А ты, Феля, знаешь, фантаст, — сказал Алеша. Что уж он имел в виду...

— Заткнись.

В какой-то из комнат хлопнула дверь. Плачет?

Феликс предложил: «Репетнем?» — а для Алеши желание брата закон. Он вернул злополучную табуретку на ее законное место и в то время, как Феликс извлекал из футляра свое музейное сокровище, виртуозно прошелся по клавиатуре. Настоящий кокет-мужчина распускает хвост перед любой и каждой. Так и он свой пианистический хвост распускал передо мной. Я тоже занял свое место, работа закипела.

Программа — великосветский салон времен аббата Листа (см. иллюстрированное приложение к журналу «Нива»). Я с ветерком перелистывал страницы фантазий на темы Мейербера и Гуно, Сен-Санса... Нет, не великосветский, баррикадами пахивали «Блестящие концертные вариации на тему “Карманьолы“» — рук некоего Даниэля.

— Это что, тематический концерт будет? — спросил я у Новицкого, по-токкатному вытянувшего шею. За него ответил Феликс, не переставая играть, с каждой нотой повышая голос:

— Да... называется... «Добро пожаловать, друзья французов»...

Ох уж любит меня этот Алеша. Будь на моем месте другой, ответил бы, и шестнадцатые не помешали б.

— Ну все, кончай эту мутотень, — Феликс опустил скрипку: на шее и на ключице рдели стигматы. — Пора пожрать и по коням. Давай чего по-быстрому (Алеша на все руки мастер).

Пуская воду, я думал: «Вот бы увидеть Алешину сестру голой. Когда жизнь протекает в такой ванной, тело становится как у Пифагора: одно бедро золотое, другое из слоновой кости. На фиг ей кимоно».

Стол был *сервирован* — профессионализм возведенных на нем укреплений может быть передан только этим словом. Приборы стояли как в ресторане, а то, чем их еще надлежало зарядить (ибо они являли собой вид холостых орудий), превосходило всякий ресторан. В графине оказался ананасовый сок, которого я никогда не пробовал. Зато отсутствовала икра — атрибут барского стола, в моем представлении.

— Хочешь икры? — «подсмотрел» Феликс.

— Да нет, спасибо... — и смалодушничал: — Не знаю.

— Хочешь, хочешь. Алеша, будь добр, дай гостю икорки.

Алеша открыл баночку, нетронутая поверхность которой была ровненькой-ровненькой, икринка к икринке.

— Рюмочку тоже? — предложил Феликс

Но видя, что Алеша достает три рюмки, Феликс вспыхнул:

— Ты что! Разве сегодня *ты* ноты переворачиваешь?

Я поспешил «поблагодарить боярыню за ласку», заверив, что водки сейчас — ну никак неохота.

— Сок — предел всех мечтаний.

То, что Феликс при мне чихвостил Алешу — в конце концов, я был его братом, и потом он же чихвостил, а не наоборот. Но ведь и Алешу мое присутствие не смущало. Спрашивается: если я такое ничтожество, которого можно не стесняться, зачем тогда было передо мной выпендриваться, разыгрывать пассажи? Должна же быть симметрия.

Прикидываясь слепым, дескать ничего не замечаю, я рассказал совершенно анекдотический случай. Мы ехали от школы, я сопровождал одному трубачу — в Мореходку, что ли... Какой-то курсант вызвался перевернуть ноты. Я ему объяснил: кивну, переворачивай. Киваю. Он ставит ноты вверх ногами — так гости поступают с чашками, когда больше чаю не хотят. Надо было сказать: переверни, друг, страницы. Но сколько бы я это ни рассказывал, по-прежнему всем *переворачивают ноты*.

Как и следовало ожидать, моя история успеха не имела. Я умолк, считая долг приличия выполненным. (Не ищите иронии, не найдете: я *должен* вести себя прилично с теми, кто меня не может терпеть. Для кого-то это мазохизм. По мне, это испытание моего мужества на кротость).

Доели в полной тишине, не было даже слышно, как муха пролетит. Феликс пошел одеваться. Алеше оставалось снять передник, и он мог выходить на эстраду — перед обедом он повязался передником, как тот гусар, которого не пустили в рейтузах в гостиную. Мы впервые с ним остались один на один, он меня не замечал, а я как будто не замечал этого: крутил головой с беззаботным выраженьем на лице... Телефон!.. Мы одинаково вздрогнули, а, казалось бы, такие с ним разные. Он снял трубку. За нами высылают автомобиль.

Я написал это и представил себе: дома без штукатурки, бумажных новостроек, что станут лагерем вокруг города, ждать еще тридцать лет. В темном коридоре коммунальной квартиры, где-нибудь на Рубинштейна, телефонный звонок, резкий, почти такой же страшный, как в дверь. За ним послан автомобиль — не «Волга», не «Победа», не «ЗиМ». Автомобиль марки «Автомобиль». И в нем Шофер. Как положено, в кожаной фуражке. И выходит Мирон Полякин, во фраке, в туго накрахмаленной манишке, в левой руке — фигурный циммермановский футляр. Он пробирается сквозь соседский сатин и спецовки. Великий скрипач будет выступать перед участниками Коминтерна.

Появился Феликс, уже при параде. Можно надевать пальто. Но я не позволю ему это сделать, прежде чем не устрою показ мод. На нем был сильно приталенный смокинг (о, стройный юноша!), переливчато-темно-синий, обведенный черной кружевной тесьмой. Лацканы покрывал фиолетовый шелк. Вместо бархатного чучела бабочки, как у Новицкого, по груди каскадом ниспадало жабо, разбиваясь о широкий розовый кушак, наподобие тех, каким опоясывают себя матадоры. Лакированные туфли изяществом не уступали стилизованной обуви на старых акварелях. Но через два сезона наше представление о «вечном» переменится, и Феликс в согласии с новой модой облачится в дырявую робу. Однако и вчерашнему его смокингу, и завтрашней его робе, в которой он предстанет перед рогатой, хвостатой, аплодирующей двумя парами конечностей аудиторией, если и будет чего-то не доставать, так это маленького кортика сбоку.

Я навсегда простился с комнатой, которую хозяйева, вероятно, скоро выменяют. Внизу на волнах покачивалась — слышите! — чайка. А мне это, часом, не снится: таких огромных чаек не бывает. Только в сказках. И правда, за рулем Иван-дурак. Совсем идиот, наверное: напялил на себя сумку, Феликсову, у которой карманы на молниях, шуршащую аж до скрежета зубовного. Нет, в любое время манекен остается манекеном, существом о двух измерениях. Насколько далек этот нейлоновый водитель «Чайки» с заграничным брелоком на ключе зажигания от сурового кожаного Шофера и его Автомобиля. А все же, как на известном плакате, где на космонавта (олицетворение всего, к чему мы пришли) взирает с небес питерский красногвардеец с алым бантом — так оба шофера своей символической преемственностью могли вызвать в сентиментальном горле сладкую спазму. Или же смертельную тоску в честном сердце по причине неискоренимости зла на земле.

Ехали мы, ехали и заехали. Дворец помещался в глубине темного сада. Вечерний морозный блеск — о весне в городе можно забыть. Крыльцо стерегли два льва, укрощенные двумя столетиями раньше знаменитым итальянским дрессировщиком. Феликс вошел первым, причем опередил нас с Новицким настолько, что, когда мы отворили дверь, успевшую, несмотря на всю свою массивность, закрыться, его и след простыл. Дорогу нам преградил штатский в военном (Сен-Санс, «Карнавал животных», из нашего репертуара). Феликс предоставил Алеше самому разбираться со всякими унижительными мелочами.

«Штатский в военном» только покачал головой, когда Новицкий объяснил ему, что я — также участник концерта, технический персонал. Нет, он ничего не может поделывать. Даже не говорит «не могу впустить» — верно оттого, что вздохни я и откланяйся, меня бы навряд ли выпустили. Положение Новицкого было незавидным. Ему и упрасивать как-то не к лицу, это же не фильм, на который дети до шестнадцати не допускаются.

Явление следующее: седовласый крепыш в светлом костюме с красным лоснящимся от усердия лбом. Откуда явился — непонятно, конспирация, как в анекдотах про майора Пронина.

— Алексей Романович, как вы себе это мыслили? — и выходило, что Алексей Романович это я: его взгляд не отпускал мою физиономию, как спазма — сердце...

быстро нитроглицерин, сейчас умру от страха! А ведь, что ни говори, не всякая физиономия обладает свойством так приковывать к себе взоры. — Вы бы сказали заранее, что вам нужно перевернуть ноты. Мы бы, поверьте, сумели подыскать кого-нибудь компетентного по этой части.

Алеша верил. Он попытался свалить все на Феликса Константиновича.

— Нет уж, — взгляд злой-презлой, наконец отпустил меня, теперь нитроглицерин потребуется Новицкому, — мы не в яслях. Феликс Константинович это Феликс Константинович, а вы это вы, понятно? — даже рывкнул, так его эта подлянка забрала.

Да уж, боюсь, в моем лице Феликс не «унизительные мелочи», а хорошую свинью подложил Алеше.

— Ладно, я сам, — плаксиво скривился он.

— Нет, все должно быть наилучшим образом, — отдувается: тяжела шапка Мономаха. — Даже не знаю, как быть, — озабоченно смотрит на часы и говорит мне: — Придется как-то пропуск вам оформлять. Это все очень сложно. Но попробуем, нет таких крепостей, которые бы большевики... — будет ломать комедию. — Фамилия, имя, отчество... дата рождения... национальность... — велик был соблазн сказать «да», — прописан... — все записал. — Ваш паспорт... —

Паспорта нету?

Гони монету.

Монеты нету?

Иди в тюрьму.

— Тогда какой-нибудь пропуск... — (Откуда? Меня же не велено никуда пускать.) Ну что-нибудь! — в сердцах восклицает он.

Я роюсь в карманах, извлекаю всякий мусор: нитки, рваный рубль — есть у меня такая привычка: когда смотрю кино, рвать бумажки в кармане.

— Трамвайная карточка подойдет?

— Да валяй уж, — он тщательно рассматривает ее на свет. — Придется подождать.

Когда ее подлинность была подтверждена специалистами, нам разрешают пройти.

Фриц Крейслер однажды тоже решил проучить своего аккомпаниатора. Играли «Испанскую симфонию» Лало. В пятой части солист, как известно, вступает после довольно оригинальной интродукции, семи одинаковых па: папа-папапа-папапа-папапа (раз), папа-папапа-папапа-папапа (два) — так семь раз. Крейслер стоит — не шелохнется, пианист продолжает играть. Десятый, одиннадцатый, двенадцатый раз. Как заезженная пластинка, повторяет он одно и то же, а скрипач в ус не дует (у Крейслера были усики). Только на пятидесятый раз соблаговолит он вступить. Так мстили аккомпаниаторам в начале века, сегодня поступают иначе. Выходит, я — орудие мести. Однако.

Не все изменилось в этом мире, многое осталось, как при царе Горохе. Исконная наша застенчивость хотя бы: царю Гороху неловко было сесть на престол с первого захода, и он дважды отказывался от угощения, скромник. Теперь другой русский скромник со словами: «Пиджачок позвольте почистить», — вдруг проехался по мне ладонями от подмышек до лодыжек.

— На выход, — раздался механический голос.

Феликс — мне:

— Смотри не ослепни.

Гуськом, а не как три мушкетера — под руки, вышли мы из-за портьеры, солист, концертмейстер и переворачиватель нот.

В белых, обитых голубым шелком креслах сидят этак дюжины полторы людей. Потолок зеркальный: в небе отражаются ангелочки с белыми крылышками. Как замшелый куб с обрубленными углами (как? столетний дуб с отрубленными ветвями?), в центре, сверкая очками (не очами), и не мертвый, и не живой (не следует только понимать в значении «ни жив, ни мертв»), восседал... ну, кто восседал, а? Да. И неважно, какая власть сосредоточена в этих руках, может, и никакая. Но чувствуешь ее, власть как таковую, лишь когда противишься ей, а эту власть чувствует на себе все живое, «от южных границ до британских морей». И тогда спрашиваешь себя: да что ж это, как в другой песне, что ли? «А врагов у нас пуше волоса, что растет в бровях царя-батюшки».

Подле него примостился товарищ Базаров — какой русский не знает этого имени? Слышу, переводчик говорит:

— Felix Podberiozvik — камсикамса-камсикамса-камсикамса — я по-французски ни бельмеса, — et Alexis Novitski, — несколько жидких хлопков. Исторический визит в люльку русской революции. Перед потомками коммунаров выступает знаменитый советский скрипач. Товарищ Марше оживился при звуках «Карманьолы», хотя и вряд ли оценил самый цимес: Сальватор Даниэль, директор парижской консерватории, переложивший «Карманьолу» для скрипки, пал на баррикадах — пулей вражеской сраженный.

Когда мы закончили, в овацию было нечему переходить: культурная операция под кодовым названием «Не пришей кобыле хвост» завершилась, как и началась, хлипкими хлопками. Ни одной женщины. Так что мальчишника им не избежать, отметил я про себя.

До поезда оставалось два часа, которые Феликс захотел провести с братом. Алеша взял у него скрипку и уехал за своими манатками. Привет учащимся истфака!

Братья остались вдвоем, и младший сказал:

— Все это гадко. Не искусству своему ты обязан славою, но тем, что поставил его на службу бесам, их возвеличиваешь ты в глазах мира.

И, понуриив голову, старший брат тихо отвечает:

— Уже поздно.

— Ничего не поздно. Отступись от них, отрекись от себя — ради себя. Ты понимаешь?

— Да, понимаю. Но поймут ли другие?

Мы шли по Фонтанке. Как в темноте можно поменяться одеждой, так мы, шут и юрод, поменялись ролями. Феликс не чувствовал юмора, моего юмора. И потому, когда я бывал серьезен, думал, что я валяю дурака. Я отводил душу.

— Ты понимаешь?

— Да, но поймут ли меня?

— А то, что ты пользуешься услугами бесов? Под охраной всем ненавистного милиционера садишься без очереди в такси. Люди опаздывали на поезд. Старушка мать, соседка той, что напрасно ждет сына домой, торопилась на свидание со своим сыном — ты понимаешь, что это за свидание? («Да, но поймут ли другие?») Тебя не страшит приговор истории, вынесенный Фуртвенглеру?

Он кивнул, его это очень страшило — но только мы вышли на Невский, как всем страхам конец, потому что включили свет.

По тротуару, туго прижав друг к другу плечи, двигались две партии людей. Те, что с краю — курсом на Московский вокзал, те, что ближе к стенке, шли на Адмиралтейство. У гастрономов антипартийный элемент препятствовал уличному шествию, вклиниваясь в мирную колонну, словно кочевые племена в исконно русские земли. Но хотя стариков и женщин они не убивали, в полон все же уводили (да там и обращали в свою веру). И, глядишь, неузнанный сын нападет на отца, а дочь — на мать.

Иногда кого-нибудь пьяненького, с мордой в киселе, милиционеры ведут под белы руки. Ему нечего на это возразить. Толпа подобострастно расступается.

Все мужчины на Невском страдают половым бессилием — если судить по тому, с какой ненавистью смотрят на них женщины: рождаемость за последние годы сократилась. Разве что отдельные организмы как-то еще пробиваются друг к другу, чтобы группироваться в маленькие упрямые очередники у дверей кафе. Беспкойный клан жаждущих лишнего билетика представлен городскими сухоточными, им не терпится насладиться чужой любовью. В укромных местечках содомские греховодники предаются лагерным воспоминаниям. Противно природе, скажете? Одна грязь? А как же иначе, когда Невский есть, а Петербурга нет — это что, не грязь, не противно природе?

Феликс спросил, не хочу ли я сходить поужинать. Стоит ему только щелкнуть пальцами, как сезам откроется и нас впустят вперед других, вытанцовывающих по часу на морозце свой столик. Нас проводят в уголок интуриста и там внепланово обслуживают. На Феликсе будет исключительный смокинг в талию. А снаружи останется танцевать парочка, она в зеленом пальто, а он — гол как сокол и скоро замерзнет. И тогда будет она смотреть на него ненавидящими глазами.

Я откачался: «Мне стыдно». Но в свете фонарей это прозвучало неуместно.

Феликс рассказывал про границу, и мне казалось, что он никогда там не был. Так совершивший со стадом бизонов круиз вокруг Европы рассказывает своим знакомым: «Вошли мы в Марсель, а французы народ горячий, увидели нас и давай кричать: па-адхады, дорогой, колготки домой по сходной цене привезешь жене».

Чтобы Феликс не очень жалел, что остался гулять с дуралеем-братцем, а не укатил в «Чайке» (отнюдь не в чеховской), я предложил чудесную тему — школу. Это как в бескрайней снежной степи перед путниками возникает видение лета, райского сада, отмеченного чертами родных мест. Унесенные воспоминаниями в дальние пределы, в другие времена, они входят туда детьми, держась за руки. Я неравнодушен к прошлому, к чужому еще больше, чем к своему. Феликс шлепает по синим лужам перед школой. Нет больше того солнца, которое светило ему, уже пятикласснику.

Нет, неинтересно ему. А случай с Синкопой? (Прозвище хромой учительницы — это было еще в добулгаковскую эру, школа-то музыкальная.) У нее была привычка снимать под столом туфлю. Раз, посаженный в наказание за первую парту, Феликс похитил это накладное копыто образца пятьдесят четвертого года. Незаметно придвинул к себе — и в портфель. Учительница шарит ногой... Так и вижу: ослепшее доисторическое животное в фильдекосовом чулке, а на лице жалкая улыбка.

Правда, он мне солгал: забыл, что эту историю мы слышали от одного великовозрастного, рядом с которым гулливер Феликс был лилипут, а уж про меня и говорить нечего. По словам великовозрастного, он проделал это с Царевичем Алексеем, старухой историчкой, которую мы уже не застали. Подвиг, отмеченный переходящим красным знаменем — переходящим из поколения в поколение.

Я возвращал Феликсу это зная, принимая его версию хрустального башмачка. Затем провел переключку всех учителей, кончая начальными классами. В иные портретные галереи не пускают. Стоя у дверей, старайся заглянуть внутрь, подальше — сколько хватает зрительной памяти. Картинки выходили одна другой меньше, зато я ухитрялся подольститься к клиенту: на каждой из них учителя представлялись жертвами исключительно его шалостей.

Но и это не всё. Поезд из одиннадцати школьных вагончиков прибыл на самую первую станцию. Мы сошли, а вагончики остались в тупичке — станция Днепропетровск. Утопающие в зелени дома, Детский парк. В нем, как сон во сне, детская железная дорога — мы бы по ней, может, и прокатались, но другой поезд уже ждал Феликса. То есть его еще не подали — ждал Бендорский.

Он искал нас в толпе и, как обычно бывает, наткнулся глазами на кого угодно: на Бабу Ягу, укравшую чью-то внучку (у, костяная нога!), на Деда Всеведа — по колону в валенках, на веселый куст парнедевок, растения непарникового, на баобаб из пяти негров, ехавших тем же поездом, что и они с Феликсом. Никого не упустил, а слона-то не приметил. Я хотел окликнуть его, но Феликс остановил: «Погоди!» Бендора был похож на клоуна. Вид ошалелый, шляпа задом наперед (по такому случаю он надел фетровую шляпу). Боясь проворонить нас, он бросался на каждого — и застыл в нелепой позе, словно был на привязи.

— Фелька! Подберезовик! — вдруг раздался победный клич — Бендора заметил нас. Мы подошли. У него зуб на зуб не попадал. Выясняется, что он стоит здесь полтора часа.

— Почему не с утра? — спросил Феликс. — И вообще, где лапти? В Париж без лаптей — высалят.

Но Бендорский только блаженно шептал: «В Париж, родненькие, в Париж...»

Кому же не хочется в Париж. К нам подкатили. С востока поезд, с запада тачка, которую толкал носильщик под присмотром Алеши.

— Знакомьтесь, — и Алеша со Славою послушно обменялись рукопожатием.

«А теперь вперед!» — это уже говорю я.

Представим себе изумительно-радостное шествие, по мне, так даже волшебное, из сказки Прокофьева «Петя и волк». Во главе, словно молодожены, Феликс и Бендора, за ними я — маленький северный Гименей, за мною следом — картинка из учебника: «Рабский труд английских шахтеров», это катит свою вагонетку недавний раб, а ныне свободный носильщик. Замыкает шествие Алеша Новицкий — дрожи, избравший светочем жизни поговорку «что с возу упало, то пропало».

Необыкновенный день закончился. Я еще постоял «под окном», посмотрел, как они устраиваются — Бендора все не знал, положить виолончель или поставить. Затем помахал им рукой и побрел восвояси.

Как музыкант могу сказать: день имел зеркальную репризу. Вокзал, трамвайная остановка, где спин больше, чем лиц, тернистый путь вагона («Такой большой, а одноглазый, как мотоцикл», — говорит в фильме «Подкидыш» маленькая девочка — укравшей ее Раневской), очертания другого вокзала, которому Николаевский в подметки не годился: отсюда ездили в Царское Село, на этих ступеньках опустилась крышка Кипарисового Ларца... Моя быстро нагревающаяся постель.

Круг замкнулся? Нет, купол сомкнулся над моей головой. В своей герметичности этот день был, как мячик. Я внутри. Чтобы не задохнуться, я схватил заветные листки и принялся их перечитывать. По ним поступал кислород. «Ишаягу» — назывался мой последний, незаконченный рассказ, больше походивший на сценарий, по которому ставят сны.

Перрон (он же). Ни вокзала, ни вагонов — все скрывают густые облака. Пар стелется и по перрону, ноги идущих окутаны белым. Эти люди прохаживаются по двое, по трое. Вокруг маститого вида личностей образуются группы. В центре одной — седобородый старец, борода облачком пара легла на черный сюртук (именно на черный сюртук — в нем он был похоронен). Он недоволен, брюзга, перед ним благоговеют. Но не многим позволено выражать свое одобрение непосредственно, большинство вполголоса общается между собой, поминутно кивая: «Лев Николаевич считает, что этот невежа нарушает все допустимые границы приличий... Лев Николаевич еще ни с чем подобным не сталкивался...» Так в пасхальную заутреню каждый спешит поделиться с соседом последней новостью, полученной из первых рук две тысячи лет назад.

Другой старик тоже в кружке почитателей: Анатолий Франс. Оба мэтра не замечают друг друга, довольно и тех холодно-презрительных улыбок, на которые не скупятся их приверженцы. На лицах у всех печать тревоги: где же он? Что, если он не придет?

Толстой взглянул на часы:

— Нет, господа, это не лезет ни в какие ворота. Мы все в сборе, поезд ждет. (При этих словах сквозь облако стали видны пульмановские вагоны, позади проступил силуэт горы). А этот Ишаягу позволяет себе опаздывать. Из-за него все вынуждены терять золотое время. (Небосклон прояснился еще более.) Да и вообще, какое отношение к нам может иметь этот дикий, невежественный человек...

Тут Иосиф Уткин вскричал: «Вэйзмир!» — и пал на лицо свое. Все ахнули. Гора приняла человеческие очертания, раздалась в плечах. Простертая рука, ширясь и исчезая из поля зрения, застлала горизонт. Все опустили глаза: на ладони его были и сами они, и перрон, и всё-всё, что только мог охватить их взор. Напрасно пеняли они Ишаягу — он все время был здесь, с ними.

Ранний звонок в дверь. Не иначе как Феликс с полпути решил вернуться, пересев во встречный поезд. Подбрасывая тапки и зияя дырками, бегу открывать. Та же девушка, что и вчера, протягивает заказное письмо. На месте обратного адреса печать номерного учреждения: три шестерки кряду. Разорвав конверт, я нахожу в нем свою трамвайную карточку.

Иерусалим, декабрь 1973